

Редьярд Киплинг

# Рикша-призрак (сборник)



Редьярд Киплинг

**Рикша-призрак (сборник)**

«Public Domain»

1888

**Киплинг Р. Д.**

Рикша-призрак (сборник) / Р. Д. Киплинг — «Public Domain»,  
1888

«...Праздношатающиеся туристы, требующие общения с людьми, уже на моей памяти несколько притупили это чувство благодушия и широкого гостеприимства. Но и теперь еще, если вы принадлежите к местному кругу и если вы не смотрите волком на людей, для вас открыт каждый дом, и наш маленький мирок готов оказать вам любую помощь...»

© Киплинг Р. Д., 1888

© Public Domain, 1888

## Содержание

Рикша-призрак	6
Его величество король	19
Конец ознакомительного фрагмента.	24

# **Редьярд Киплинг**

## **Рикша-призрак (сборник)**

\* \* \*

## Рикша-призрак

*Да не нарушат покой мой больные грезы.*

*Да не смутит меня могущество тьмы.*

**Вечерний гимн**

Одно из немногих преимуществ Индии перед Англией заключается в возможности иметь обширные знакомства. Через пять лет службы человек знаком уже прямо или косвенно с двумя-тремястами чиновниками своего округа, со всеми офицерами десяти или двенадцати полков и батарей и больше чем с тысячью разного неофициального люда. В продолжение десяти лет число его знакомств удваивается, а через двадцать он знает хорошо, или более или менее хорошо, каждого англичанина в империи и может путешествовать всюду, не оплачивая счетов в гостиницах.

Праздношатающиеся туристы, требующие общения с людьми, уже на моей памяти несколько притупили это чувство благодушия и широкого гостеприимства. Но и теперь еще, если вы принадлежите к местному кругу и если вы не смотрите волком на людей, для вас открыт каждый дом, и наш маленький мирок готов оказать вам любую помощь.

Лет пятнадцать назад Рикетт из Камарты остановился у Польдера из Кумаона. Он думал остановиться только на две ночи, но заболел ревматической лихорадкой. В течение шести недель он вносил беспорядок в дом Польдера, остановил его дела и в конце концов умер чуть не в его спальне. Польдер держал себя так, как будто был навеки связан с ним каким-нибудь обязательством, и ежегодно посылал маленьким Рикеттам ящик с подарками и игрушками. Мужчины, которые не постесняются скрыть от вас своего мнения, если считают вас ничего не смыслящим ослом, женщины, способные очернить вас и ваше снисхождение к развлечениям вашей жены, те и другие лезут из кожи вон, чтобы помочь вам, когда вы заболаете или когда вас постигнет несчастье.

Доктор Хизерлеф, вдобавок к обычной своей практике, устроил на собственные средства госпиталь – ряд отдельных ящиков для неизлечимых, как называл это его приятель, – но на самом деле прекрасное пристанище для пострадавших от бурь и непогод жизни. Погода в Индии часто бывает знойная, и так как всегда бывает строго определенное количество работы и людям, как милость, даруют возможность переутомляться, не получая даже благодарности, то они сваливаются с ног и так иной раз расхвораются, что приходится серьезно лечить их.

Хизерлеф – самый милый доктор, который когда-либо был на свете. Его неизменное предписание всем пациентам таково: «Не спите на высоком изголовье, ходите медленно, не горячитесь». Он говорит, что чрезмерная работа убивает большее количество людей, чем этого требует необходимость существования мира. Он утверждает, что переутомление убило и Пансея, умершего у него на руках три года назад. Без сомнения, он имеет право так говорить и смеяться над моим предположением, что в голове Пансея образовалась трещина, через которую попала туда частица элементов из потустороннего мира и довела его до смерти. «Пансей упустил случай воспользоваться продолжительным отпуском на родину», – говорил Хизерлеф. Не в том дело, был ли он негодяем относительно м-с Кэт Вессингтон или не был. По-моему, работа в Катабундском Сеттльменте надорвала его силы, потому он и начал придавать слишком большое значение обыкновенному флирту на пароходе. Кроме того, он был обручен с м-с Маннеринг, и она потом отказала ему. Затем он схватил лихорадку, и тогда началась вся эта чепуха с призракoм. Переутомление было главной причиной его болезни, поддерживало ее и убило беднягу. Вините государственный строй, заставляющий одного человека работать за двоих с половиной.

Я этому не верю. Мне приходилось сидеть с Пансеем, когда я не был занят, а Хизерлефа вызывали к пациентам. Больной немало удручал меня своими бесконечными рассказами тихим, монотонным голосом о видениях, которые проходили постоянно перед его постелью. Он говорил языком больного человека. Когда он приходил в себя, я просил его записывать все с начала до конца, думая, что это облегчит его страдания.

Но им овладевало страшное лихорадочное возбуждение, когда он писал, и самый пламенный способ выражения не успокаивал его. Через два месяца он был признан годным для исполнения служебных обязанностей, но, несмотря на то, что его помощь была действительно необходима в одной из комиссий, расстроенной дефицитом и недостатком людей, он предпочел умереть, поклявшись напоследок, что был измучен кошмаром. Я получил от него перед смертью рукопись и привожу ее здесь в том виде, в каком она была написана в 1885 году.

Мой доктор говорит мне, что я нуждаюсь в отдыхе и перемене климата. Нет ничего невероятного, что я скоро буду иметь и то и другое – отдых, который не в состоянии будут нарушить ни курьер в красной куртке, ни полуденный выстрел, и перемену климата в таких далеких краях, куда не довезет меня ни один из наших пароходов. А пока я решил остаться там, где живу, и, вопреки приказанию доктора, поведать всему свету о своих страданиях. Вы сами увидите, в чем заключается моя болезнь, и сами будете судить, есть ли еще человек, рожденный женщиной, на этой бренной земле, который мучился бы так, как мучаюсь я.

Говоря теперь так, как может говорить приговоренный преступник в последнюю минуту жизни, я нахожу, что моя история, дикая и ужасная, может быть и невероятная, во всяком случае, заслуживает внимания. Я, конечно, не рассчитываю, что мне когда-нибудь поверят. Да и сам я два месяца назад счел бы пьяным или сумасшедшим человека, осмелившегося рассказать мне что-либо подобное. Два месяца назад не было в Индии живого существа счастливее меня. Теперь от Пешавара до моря нет никого несчастнее. Только мой доктор и я знаем это. Он объясняет мои упорно повторяющиеся «галлюцинации» болезненным состоянием мозга, желудка и зрения. Хороши галлюцинации! Я называю его дураком, но он отвечает на это неизменной кротостью, приличествующей его профессии, с постоянной улыбкой на лице, с аккуратно подстриженными бакенбардами. И я начинаю считать себя неблагодарным брюзгой. Но вы сами увидите и будете судить.

Три года назад я имел счастье или величайшее несчастье плыть на пароходе из Гравезенда в Бомбей, возвращаясь из отпуска, с некоей Агнессой Кэт Вессингтон, женой бомбейского офицера. Нечего говорить вам о том, что это была за женщина. Достаточно, если вы узнаете, что к концу путешествия мы были влюблены друг в друга безумно и безнадежно. Богу известно, что я говорю теперь это без малейшего хвастовства. В делах подобного рода всегда бывает так, что один дает, другой принимает. С первых же дней нашей роковой любви я увидел, что чувство Агнессы более сильное, более захватывающее и более – если можно так выразиться – чистое, чем мое. Сознавала ли она это, я не знаю. Кончилось это одинаково скверно для нас обоих. Приехав весной в Бомбей, мы расстались, чтобы встретиться месяца через три-четыре в Симле, куда ее привела любовь, а меня – отпуск. Здесь мы провели вместе сезон, по истечении которого печально угасло пламя моего соломенного костра. Я не оправдываюсь. М-с Вессингтон дала мне много и была готова отдать все. От меня же она узнала в августе 1882 года, что я устал от ее общества, что мне надоело видеть ее, надоело слышать ее голос. Девяносто девяти женщинам из ста так же надоел бы я, как она мне, семьдесят пять из этого числа с гордостью отвернулись бы от меня и в отместку мне стали бы флиртовать с другими мужчинами. М-с Вессингтон была сотая. На нее несколько не действовали ни мое явно выраженное пренебрежение к ней, ни мои дерзкие выходки во время наших свиданий.

– Джек, дорогой! – был ее вечный, жалобный припев. – Я убеждена, что все это – только ошибка, ужасная ошибка. Придет время, когда мы будем опять друзьями. Прошу тебя, прости меня, Джек, дорогой!

Я знал, что обижаю ее. И это сознание только усиливало слепую, возрастающую ненависть к ней – инстинкт, побуждающий человека с дикой жесточенностью придавить паука, наполовину уже убитого им. С этой ненавистью в душе я закончил сезон 1882 года.

В следующем году мы снова встретились с ней в Симле, – она все с тем же грустным лицом и робкими попытками примириться, я с отвращением к ней, которое ощущал каждой клеткой своего существа. Случалось, что я не мог избежать встречи с ней наедине, и каждый раз она обращалась ко мне все с теми же словами. Все те же глупые сетования на то, что все это была «ошибка», и все та же надежда на то, что мы «будем друзьями». Я мог видеть, если бы только хотел, что только этой надеждой она живет. Она бледнела и таяла день ото дня. Вы должны согласиться со мной, что все это могло вывести из терпения кого угодно. Это было нетактичное ребячество, отсутствие женского самолюбия. Я утверждаю, что она заслуживала порицания. И все-таки иногда, в темные, бессонные ночи, я начинал думать, что мог бы относиться к ней с большей добротой. Но это уж действительно «галлюцинация». Не мог же я любить ее насильно или притворяться, что люблю. Это было бы нечестно относительно нас обоих.

В последний год мы опять встретились – в то же самое время, как прежде. Те же надоедливые возгласы и те же краткие ответы с моей стороны. Наконец, я должен был дать ей ясно понять всю нелепость и безнадежность ее попыток вернуть прежние отношения. К концу сезона мы разошлись окончательно в разные стороны; ей трудно стало видаться со мной, так как я был отвлечен новым, захватившим меня интересом. Когда я спокойно вспоминаю теперь в моей больничной комнате сезон 1884 года, он представляется мне призрачной ночью, где свет и тени фантастически перемешиваются. Мое увлечение маленькой Китти Маннеринг; мои надежды, сомнения, страх; наши продолжительные поездки вдвоем; мое трепетное признание; ее ответ; и потом опять это видение – бледное лицо, мелькающее в рикше с черными и белыми ливреями, которое я поджидал когда-то с таким нетерпением; движение руки м-с Вессингтон, обтянутой перчаткой; и, когда мы встречались с ней наедине, что было очень редко, ее грустный, монотонный призыв. Я любил Китти Маннеринг, честно, искренне любил ее, и вместе с ростом моей любви к ней росла во мне ненависть к Агнессе. В августе Китти и я были обручены. На следующий же день я встретил тех проклятых «сорок» джампани на вершине Джакко и, движимый чувством сострадания, остановился поговорить с м-с Вессингтон. Она уже все знала.

– Я слышала, что вы обручены, Джек, дорогой. – Затем, после некоторой паузы: – Я убеждена, что все это ошибка, ужасная ошибка. Придет время, Джек, мы будем опять друзьями, как раньше.

Мой ответ мог бы привести в ярость даже мужчину. Для умирающей женщины, которая была передо мной, это был удар кнута.

– Пожалуйста, простите меня, Джек, я не хотела сердить вас. Но это все-таки правда, правда!

М-с Вессингтон бессильно опустила в рикше. Я свернул в сторону, предоставив ей продолжать путешествие и почувствовав себя, однако, на минуту или на две настоящим скотом. Я оглянулся и увидел, что она повернула рикшу с намерением, вероятно, догнать меня.

Вся эта сцена, с малейшими подробностями, запечатлелась в моей памяти. Плачущее дождем небо (кончалось дождливое время), угрюмые, намокшие сосны, грязные дороги, темные, растрескавшиеся скалы, и на этом мрачном фоне резко выделявшиеся черные с белым ливреи джампани, желтая рикша и золотистая, низко опущенная голова м-с Вессингтон. Она полулежала на подушках рикши и держала носовой платок в левой руке. Я повернул лошадь на



боковую дорогу вблизи Санджовлийского резервуара и ускакал. Один раз мне показалось, что я слышу слабый призыв: «Джек». Но это могло быть воображение. Я не остановился, чтобы увериться. Через десять минут я заехал за Китти и в восхитительной долгой прогулке с ней забыл о только что бывшем свидании.

Через неделю м-с Вессингтон умерла, и невыносимое бремя ее существования свалилось с моих плеч. Я уехал в Пленсуорд вполне счастливый. Не прошло и трех месяцев, как я совершенно забыл о ней, разве иногда случайно попавшееся письмо вызывало неприятные воспоминания о минувших отношениях. В январе я разыскал остатки ее корреспонденции среди разбросанных всюду бумаг и сжег их. В начале апреля этого, 1885 года я был опять в Симле, почти пустой на этот раз, и был полностью погружен в любовные беседы и бесконечные прогулки с Китти. Было решено, что мы повенчаемся в конце июня. Вы понимаете, конечно, что при моей любви к Китти я был в это время счастливейшим человеком в Индии.

Две недели, полные наслаждения, пролетели так быстро, что я и не заметил. Вернувшись от грез к действительности и поглощенный желанием укрепить еще больше наши отношения, я предложил Китти поехать к Гамильтону, выбрать обручальное кольцо и носить его, как подобает невесте. До этого момента, клянусь вам, у нас не было и мысли о каких-либо формальностях. К Гамильтону мы отправились 15 апреля 1885 года. Отлично помню – хоть мой доктор и утверждает обратное, – что я был тогда вполне здоров и наслаждался совершенно спокойным, уравновешенным душевным состоянием. Войдя вместе с Китти в магазин Гамильтона, я позабыл о существующих приличиях и сам примерял кольцо на пальчик Китти в присутствии улыбавшегося приказчика. Кольцо было с сапфирами и бриллиантами. Затем мы поехали вниз по дороге, ведущей к Комбермерскому мосту и ресторану Пелити.

В то время как мой Уэлер осторожно нащупывал дорогу по вязкой глинистой тропинке и Китти смеялась и щебетала рядом со мной, в то время как вся Симла, или, вернее, все собравшиеся в нее из долин, сгруппировались вокруг читальной комнаты на веранде Пелити – я не переставал слышать, или, скорее, чувствовать, что кто-то, очевидно издали, зовет меня по имени. Казалось мне, что этот голос я слышал раньше, но когда и где – не мог определить. И пока мы проехали небольшое расстояние от магазина до Комбермерского моста, я успел перебрать в уме с полдюжины знакомых, которые могли обращаться ко мне таким образом, и решил в конце концов, что это просто был звон в ушах. Но у самого ресторана Пелити перед моими глазами мелькнули внезапно четыре джампани в «сорочьих» ливреях, тянувшие желтую, дешевую рыночную рикшу. В ту же минуту мои мысли вернулись к прошлому сезону, к м-с Вессингтон, и в душе поднялось опять чувство раздражения и досады. Мало было разве, чтобы эта женщина умерла и натворила столько при жизни, чтобы еще теперь появились ее черные с белым служители и испортили день счастья? Кто бы ни был хозяином рикши в настоящее время, я буду просить его, как о личном одолжении, переменить ливреи ее джампани. Если будет необходимо, я сам готов нанять их и купить им другие ливреи. Невозможно описать, какой поток неприятных воспоминаний нахлынул вдруг в мою душу при появлении их здесь.

– Китти, – вскричал я, – опять явились эти джампани несчастной м-с Вессингтон! Не знаю, кому принадлежат они теперь.

Китти была знакома с м-с Вессингтон и всегда относилась к больной женщине с участием.

– Что? Где? – спросила она. – Я ничего не вижу.

В то время как она это говорила, ее лошадь отпрянула в сторону от навьюченного мула, идущего навстречу, и направилась прямо на приближавшуюся рикшу. Я едва успел крикнуть предостережение, как, к моему величайшему ужасу, лошадь вместе с всадницей прошла сквозь людей и коляску, как будто все это было из воздуха.

– В чем дело? – закричала Китти. – Что за глупости вы говорите, Джек? Хоть я и невеста, но вовсе не желаю, чтобы об этом знал всякий встречный. Между мулом и верандой было достаточно места, чтобы проехать. А если вы думаете, что я не умею ездить... Так вот!..

Своенравная Китти помчалась галопом по направлению к железнодорожной станции, высоко подняв маленькую, очаровательную головку, и я, конечно, устремился за ней. Но в чем же дело? Ничего особенного. Или я болен, или пьян, или вся Симла наполнена дьяволами. Нетерпеливым движением я повернул лошадь. Рикша повернулась тоже, затем остановилась прямо передо мной в конце Комбермерского моста.

– Джек! Джек, дорогой!..

На этот раз не было никакого сомнения в том, что я слышал именно эти слова, они ото-звались в моем мозгу, как будто их прокричали над самым моим ухом:

– Здесь какая-то ужасная ошибка, я уверена. Пожалуйста, прости меня, Джек, и будем снова друзьями.

Верх рикши откинулся назад и внутри, – это так же верно, как то, что я каждый раз днем молю о смерти, которой боюсь ночью, – внутри сидела м-с Кэт Вессингтон, с носовым платком в руке и с опущенной на грудь золотистой головкой.

Долго ли оставался я без движения, не знаю. В конце концов, я пришел в себя когда мой саис, взяв под узды мою лошадь, спрашивал меня, не болен ли я? От ужасного до смешного только шаг. Я остановил лошадь, сошел и спросил в ресторане рюмку водки. Две или три пары посетителей сидели и болтали за кофейными столиками. Их обычный вид и обычные разговоры были полезнее для меня в эту минуту, чем утешения религии. Я присоединился к их компании, болтал, смеялся и жестикулировал, между тем как мое лицо (отражение которого я видел в зеркале) было бледно и вытянуто, как у мертвеца. Двое или трое заметили мое состояние и, приписав его излишней порции коньяку с содовой, старались увести меня от любопытных зрителей. Но я отказался уйти отсюда. Я тянулся к обществу себе подобных, как ребенок, испугавшись темноты, стремится выйти на свет. Так проболтал я минут десять, показавшихся мне вечностью, когда услышал звонкий голос Китти, спрашивавшей обо мне. Через минуту она была уже в ресторане, готовая пристыдить меня за внезапное уклонение от моих обязанностей. Что-то в выражении моего лица остановило ее.

– Ну, что же, Джек? – спросила она. – Что вы здесь делали? Что случилось? Вы больны?

Необходимо было солгать, и я сказал, что мне напекло голову. Это было в пять часов сумрачного апрельского дня, в который солнце не показалось ни разу. Я понял свою ошибку тотчас же, как слова слетели с моих губ. Пытался поправиться и безнадежно запутался, следуя за Китти и сопровождаемый насмешливыми улыбками знакомых. Пробормотав еще несколько извинений (не помню каких) и сославшись на болезненное состояние, я уехал к себе, не проводив Китти домой.

Войдя в свою комнату, я сел и постарался спокойно подумать о случившемся. Дело было в том, что я, воспитанный человек, чиновник Бенгалии, предполагается здравомыслящий, вообще здоровый, ускакал от невесты, испуганный появлением женщины, умершей и похороненной восемь месяцев назад. Таковы были факты, и я не мог от них отказаться. Дальше всего на свете были от меня воспоминания о м-с Вессингтон в то время, когда мы выходили с Китти из магазина. Ничего не было необыкновенного в площадке против ресторана Пелити. Это было среди бела дня. Кругом были люди. И все-таки, обратите на это внимание, вопреки всяким законам, явно оскорбляя природу и ее веления, явился мне призрак из могилы.

Арабский конь Китти прошел сквозь рикшу: таким образом исчезла моя первая надежда на то, что нашлась еще одна чудачка, подобная м-с Вессингтон, нанявшая и коляску и кули с их старыми ливреями. Снова и снова возвращался я к этому коловороту мыслей и снова и снова запутывался и приходил в отчаяние. Голос был так же необъясним, как видение. У меня явилась оригинальная, несколько дикая мысль рассказать все Китти, просить ее тотчас же обвенчаться со мной, чтобы в ее объятиях забыть о призраке в рикше. В сущности, рассуждал я, уже само появление рикши достаточно убедительно для того, чтобы признать все обманом

зрения. Можно видеть призраки мужчин, женщин, но уж никак не рикши или коляски. Все это бессмыслица.

На следующий день я написал покаянную записку Китти, умоляя ее забыть мое странное поведение накануне. Мое божество было сильно разгневано, и было необходимо лично просить прощения. Приготовившись ночью к ложному объяснению, я сослался на внезапное сердцбиение вследствие несварения желудка. Объяснение было признано достаточным, и мы отправились с Китти на прогулку, хотя легкая тень моей первой лжи уже легла между нами.

Больше всего нравилось Китти скакать галопом вокруг Джакко. Не надеясь на свои расстроенные минувшей ночью нервы, я слабо протестовал, предлагал ехать на Обсерваторский холм, Друтов, Бойлегинскую дорогу – все, что угодно, только не Джакко. Китти сердилась и обижалась, я уступил, боясь возобновления ссоры, и мы направились к Чота Симле. Большую часть пути мы проскакали, по обыкновению, галопом, от Конвента по ровному шоссе возле Санджовлийского резервуара. Разгоряченные лошади, казалось, летели, и мое сердце билось все сильнее и сильнее по мере нашего приближения к подъему. Все утро мысли мои были полны м-с Вессингтон, и каждый шаг по дороге к Джакко вызывал воспоминания о прошлом, о прогулках и разговорах здесь с ней. Все камни говорили об этом, сосны громко пели про это. Полноводные от дождей ручьи хихикали и зубоскалили между собой, осмеивая позорную историю. А ветер не переставая свистел мне в уши о моей несправедливости. В заключение в середине площадки, называемой Дамской, ждал меня ужас. Ни одной рикши не было видно, кроме желтой, с четырьмя джампани, одетыми в черное с белым, и с золотистой головой женщины в ней. Все совершенно в том же виде, как было восемь месяцев назад и вчера! На одну минуту мне пришло в голову, что Китти должна видеть то, что вижу я, мы так удивительно симпатизировали друг другу. Но первые же ее слова разубедили меня:

– Ни одной души кругом! Скачите, Джек, к резервуару, я буду догонять вас!

Ее маленькая жилистая арабская лошаденка летела, как птица, мой Уэлер уже догонял ее, и так мы мчались под скалами. Через полминуты мы были уже в пяти шагах от рикши. Я потянул назад Уэлера и откинулся сам. Рикша стояла как раз посреди дороги, и, как только арабская лошадка проскочила сквозь нее, мой конь последовал за нею.

– Джек! Джек, дорогой! Пожалуйста, прости меня! – жалобно прозвучало в моих ушах, и затем, через некоторый промежуток: – Все это только ошибка, ужасная ошибка.

Я пришпорил мою лошадь, как будто за мной гнались. Когда я оглянулся на резервуар, черные с белым ливреи все еще ждали – терпеливо ждали под навесом серых скал, – а ветер доносил до меня насмешливое эхо только что слышанных слов. Китти шутила над моей молчаливостью в конце нашей прогулки. Перед тем я без конца болтал обо всем, что приходило в голову. Из чувства самосохранения я не мог говорить после того, что видел, и я благоразумно помалкивал во все время пути от Санджовли до церкви.

Я обедал у Маннерингов в тот день, и у меня осталось времени, только чтобы съездить домой и переодеться. Проезжая в сумерки по дороге к Элизиму, я услышал разговор двух человек.

«Странная история, – говорил один, – как исчезли все следы от нее. Знаете, моя жена была болезненно привязана к этой женщине (я лично никогда не видел в ней ничего особенного), так она заставила меня разыскать ее старую рикшу и кули, чего бы это ни стоило. Глупая фантазия, конечно, но я повиновался своей мемсахиб.<sup>1</sup> И, вы не поверите, оказалось, по словам хозяина рикши, что все четыре кули – они были братья – умерли от холеры, а рикшу он сломал, не желая употреблять ее после смерти мемсахиб. Она приносила ему несчастье. Чудно, не правда ли? Маленькая м-с Вессингтон никогда никому не приносила несчастья, кроме самой себя!»

---

<sup>1</sup> Мемсахиб или мемсаиб (memsahib), так туземцы величают английских дам.

Я громко рассмеялся, когда услышал последние слова, но смех мой был принужденный и болезненный. Следовательно, могли являться призраки рикши и призраки слуг с того света. Сколько платила им м-с Вессингтон? На сколько часов она их нанимала? Куда они ушли?

Как видимый ответ на мой последний вопрос появилось адское видение в полусвете и загрозило мне дороге. Мертвые путешествуют быстро и сокращенными путями, не известными обыкновенным кули. Я снова громко захохотал, но тотчас же оборвал свой смех, испугавшись мысли, что я болен. И должно быть, я действительно был болен, так как подскочил к рикше и учтиво пожелал доброго вечера м-с Вессингтон. В ответ услышал то, что мне было хорошо известно. Но я выслушал до конца и возразил, что все это я слышал уже раньше и был бы счастлив услышать что-нибудь новое. Какой-то злой дух, очевидно, вселился в меня в этот вечер, потому что я, помнится, минут пять говорил с тем, что было передо мною, о самых обыкновенных вещах.

– Болен бедняга или пьян. Макс, попытаемся отвести его домой.

Это уже не был голос м-с Вессингтон! Двое людей услышали мой разговор с пустым пространством и вернулись, чтобы посмотреть на меня. Они были очень добры и внимательны, и из их слов я понял, что они считают меня пьяным до последней степени. Я смущенно поблагодарил их, поскакал домой, переоделся и через десять минут был у Маннерингов. Свое опоздание я объяснил темнотой и, выслушав упреки Китти, сел за стол.

Под шум общего разговора я обратился с нежными словами к своей невесте, и в это время мое внимание было отвлечено разговором на противоположном конце стола. Какой-то господин с рыжими баками очень живописно рассказывал своему собеседнику о больном, которого только что встретил на улице.

Несколько слов, долетевших до меня, убедили меня в том, что он рассказывает о встрече со мной полчаса назад. В середине своего повествования он оглянулся кругом, ожидая привычных поощрений, как умелый рассказчик, и тут, поймав мой взгляд, вздрогнул. На минуту воцарилось молчание, и рыжий господин пробормотал, что «забыл, чем кончилось дело», принося в жертву свою репутацию прекрасного рассказчика, которой пользовался в течение шести сезонов. Я от души благословил его и вернулся к своей рыбе.

Обед кончился в положенное время, и я с особенным сожалением должен был оторваться от Китти – особенным еще и потому, что знал наверное о том, что ждало меня на улице. Господин с рыжими баками, который был представлен мне как симлинский доктор Хизерлеф, выразил желание ехать со мной вместе, пока нам будет по пути. Я с благодарностью согласился на его предложение.

Мое предчувствие не обмануло меня. То было уже на своем месте и, как бы насмехаясь, блесело зажженным фонарем. Господин с рыжими бакенбардами тотчас же приступил к предмету, о котором, очевидно, думал на протяжении всего обеда.

– Скажите, Пансей, что было с вами сегодня вечером на Элизиумском шоссе?

Неожиданность вопроса застала меня врасплох, и я ответил, не подготовившись.

– Вот что! – сказал я, указывая на **то**.

– Это может быть от белой горячки или от какой-нибудь болезни глаз. Но вы не пили сегодня. Я наблюдал за вами во время обеда. Следовательно, это не белая горячка. Там, куда вы указываете, нет ничего, а вы обливаетесь потом и дрожите, как испуганный пони. Очевидно, у вас глаза не в порядке. И я должен определить, в чем тут дело. Едемте ко мне. Я живу у Блессингтонского нижнего шоссе.

К моему большому удовольствию, рикша, вместо того чтобы следовать за нами, оставалась все время шагах в двадцати от нас. Путь был довольно далекий, и я успел рассказать моему спутнику все, что уже рассказывал вам.

– Хорошо, вы испортили сегодня один из лучших моих рассказов, – сказал он, – но я прощаю вам это за то, что вы испытали. Теперь слушайтесь моих советов и лечитесь. И если

я вылечу вас, молодой человек, пусть это будет для вас хорошим уроком, чтобы в будущем держаться подальше от женщин и избегать неудобоваримой пищи.

Рикша все время держалась на том же расстоянии перед нами, и мой рыжебородый друг, кажется, очень радовался точности моих указаний относительно ее местопребывания.

– Болезнь, Пансей, болезнь зрения, мозга и желудка. А главное, желудка. Вы слишком много напрягали ваш мозг, мало заботились о желудке и утомили зрение. Очистите желудок, а остальное пойдет своим чередом. С этого часа я беру вас под свой медицинский надзор! Вы слишком интересный экземпляр, чтобы пройти мимо. – В это время мы спустились по Блессингтонскому шоссе, и рикша вдруг остановилась у сосны под нависшей скалой. Инстинктивно я тоже остановился. Хизерлеф выругался.

– Ну, если вы воображаете, что я намерен провести холодную ночь под утесами из-за ваших желудочно-головных зрительных бредней... Боже мой! Что это такое?

Послышался глухой удар, затем столб пыли взвился прямо перед нами, раздался треск сломанного дерева, и в десяти шагах от нас на дорогу обрушилась часть скалы с соснами и кустарниками. Соседние деревья качались некоторое время, подобно пьяным гигантам, затем последовали за товарищами с оглушительным грохотом. Наши лошади стояли неподвижно, потные от страха. Когда прекратился шум от сыпавшейся земли и камней, мой спутник проговорил:

– Знаете, если бы мы не остановились, то были бы теперь под землей футов на десять. Да, немало чудес на свете!.. Едем домой, Пансей, и будем благодарить Бога. Надо выпить немного коньяку.

Мы поднялись к Церковной горе и были в доме доктора Хизерлефа вскоре после полуночи.

Он тотчас же принялся лечить меня и не выпускал из рук целую неделю. Много раз за это время я благословлял судьбу, которая свела меня с лучшим и добрейшим доктором в Симле. Со дня на день состояние духа мое улучшалось, настроение становилось ровнее и веселее. И с каждым днем я все больше склонялся на сторону доктора в его теории о галлюцинациях вследствие болезненного состояния желудка, мозга и глаз. Я написал Китти, что легкий ушиб от падения с лошади заставляет меня просидеть некоторое время дома, но что я, вероятно, поправлюсь, прежде чем она успеет пожалеть о моем отсутствии.

Система лечения Хизерлефа была проста. Он заставлял меня принимать слабительные пилюли, купаться в холодной воде и гулять в сумерки или рано утром.

– Потому что, – предусмотрительно разъяснял он, – человек с ушибленной ногой не может делать по двенадцати верст в день, и ваша невеста была бы очень удивлена, если бы встретила с вами на прогулке.

В конце недели, после многократных исследований зрачков и пульса и строжайших предписаний относительно диеты и моциона, Хизерлеф отпустил меня так же решительно, как начал лечить меня. Вот его напутственные слова:

– Слушайте, я утверждаю, что ваше психическое состояние совершенно нормально, а это значит, что я вылечил вас от большинства ваших физических недугов. Теперь собирайте ваши пожитки и отправляйтесь снова ухаживать за мисс Китти.

Я стал выражать ему признательность за его доброту ко мне. Он круто оборвал меня:

– Пожалуйста, не думайте, что я делал это все из симпатии к вам. Из всего, что я от вас слышал, я вывел заключение, что поступили вы, во всяком случае, нехорошо. При всем этом вы человек оригинальный, хотя и головорез... Нет! – остановил он меня вторично. – Ни одной рупии, прошу вас. Идите, и посмотрим, будут ли у вас опять какие-нибудь желудочно-мозговые зрительные бредни. Я плачу лах<sup>2</sup> за каждый раз, когда вы увидите что-либо подобное.

---

<sup>2</sup> Сто рупий.

Через полчаса я был уже в гостиной Маннерингов с Китти, наслаждаясь счастьем ее присутствия и сознанием, что **то** никогда больше не смутит меня своим появлением.

Вполне уверенный в своем исцелении, я предложил прокатиться верхом, и непременно вокруг Джакко.

Никогда еще не чувствовал я себя так хорошо, никогда не ощущал такого необузданного прилива жизнерадостности, как в этот день – тридцатого апреля. Китти радовалась происшедшей во мне перемене и высказывала это со свойственной ей милой откровенностью. Мы выехали из их дома вместе, смеясь и болтая, и поскакали, как прежде, по шоссе к Чота Симле.

Я стремился к Санджовлийскому резервуару, чтобы окончательно убедиться в своем полном выздоровлении.

Лошади мчались, но, при моем нетерпении, мне казалось, что они идут шагом. Китти удивляло мое буйное веселье.

– Что это, Джек! – воскликнула она наконец. – Вы ведете себя, как ребенок! Что с вами творится?

В это время мы были внизу Конвента, и я только из удалства заставил моего Уэлера перепрыгнуть через дорогу, подзадоривая его рукояткой хлыста.

– Что со мной? – отвечал я. – Ничего, дорогая. Ничего особенного. Если бы вы провели, как я, ничего не делая, целую неделю, то пришли бы в такое же буйное настроение.

Конец фразы едва успел слететь с моих губ, как мы уже обогнули угол над Конвентом, и перед нами открылся вид на Санджовлийский резервуар. Посреди ровной дороги стояла желтая рикша с м-с Вессингтон в ней и с джампани в черных с белым ливреях около нее. Я подпрыгнул в седле, протер глаза и, уверен, сказал что-нибудь. Первое, что я помню потом, это себя, лежащим вниз лицом на дороге, и Китти, в слезах наклонившуюся надо мной.

– **Оно** ушло, Китти? – закричал я. Китти только заплакала еще сильнее.

– Что ушло, Джек, дорогой мой? Что все это значит? Это, вероятно, ошибка, Джек, ужасная ошибка.

Ее последние слова заставили меня вскочить на ноги... больного... охваченного прежним безумием.

– Да, это какая-нибудь ошибка, – повторил я, – какая-нибудь ужасная ошибка. Пойди и посмотри на это.

Мне смутно представляется, что я тащил Китти за руку, по дороге, туда, где стояло **это**, и заклинал ее из сострадания ко мне поговорить с этим, сказать, что мы обручены, что ничто, даже смерть и ад, не порвут узы, связывающие нас. И только Китти знает, что говорил я еще в этом роде. Снова и снова страстно взывал я к ужасу в рикше, умолял понять все, что я сказал, и освободить меня от мучений, убивающих меня. Вероятно, между прочим, я рассказал Китти историю моих отношений с м-с Вессингтон, потому что я видел выражение возрастающего внимания на ее бледном лице и в ее горящих глазах.

– Благодарю вас, мистер Пансей, – сказала она наконец. – Этого вполне достаточно. – И она кликнула саиса.

Саисы, безучастные, как все восточные жители, подвели лошадей. Когда Китти вскочила в седло, я пытался удержать ее лошадь за уздечку, умоляя выслушать меня и простить. Вместо ответа я получил удар хлыстом по лицу и слово или два на прощание, которых даже и теперь написать не в состоянии. Это меня убедило, и убедило правильно, что Китти знала все. Я повернулся к рикше. Мое лицо горело, удар хлыста оставил на нем громадную синевато-багровую полосу, тянувшуюся ото рта до глаз. Я потерял уважение к себе. В это время подскочил Хизерлеф, следовавший в отдалении за мной и Китти.

– Доктор, – сказал я, указывая на свое лицо, – это расписка миссис Маннеринг на увольнении меня в отставку и... я буду очень благодарен, если вы выдадите мне условленный лах.

Лицо Хизерлефа заставило меня расхохотаться даже в ту горестную минуту.

– Я готов рисковать репутацией моей профессии... – начал он.

– Не будьте глупцом, – проговорил я, – я потерял счастье всей моей жизни, и вы лучше сделаете, если проводите меня домой.

Пока я говорил, рикша исчезла. Затем я потерял представление о том, что было дальше. Вершина Джакко, казалось, поднялась и поплыла, как облако, затем опустилась на меня.

Через семь дней (т. е. седьмого мая) я обнаружил, что лежу в комнате у Хизерлефа, слабый и беспомощный, как малый ребенок. Хизерлеф сидел у письменного стола и внимательно наблюдал за мной. В первых его словах не было ничего ободряющего, но я был слишком подавлен, чтобы они меня взволновали.

– Здесь ваши письма, которые вернула вам мисс Китти. Вы, молодежь, очень любите писать письма. В этом пакете что-то вроде кольца. При этом была приложена любезная записка от папаши Маннеринга, которую я взял на себя смелость прочесть и сжечь. Старый джентльмен не особенно благосклонен к вам.

– А Китти? – спросил я с тупым равнодушием.

– Судя по тому, что она говорит, пожалуй, еще более сердита, чем отец. По всей видимости, вы посвятили ее во многие подробности вашей жизни до нашей встречи. Она говорит, что человек, поступающий с женщиной так, как вы поступили с м-с Вессингтон, должен был бы убить себя из сострадания к своему полу. Горячая голова у девицы. Уверяет еще, что вы были в припадке белой горячки тогда на шоссе у Джакко. Говорит, что скорее умрет, чем встретится с вами хоть раз.

Я застонал и отвернулся к стене.

– Теперь вам предстоит сделать выбор, мой друг. Брак ваш, конечно, состояться не может. Маннеринги не хотят поступить с вами слишком жестоко. Хотите вы, чтобы причиной разрыва была белая горячка или эпилепсия? К сожалению, иной замены, кроме разве наследственного помешательства, не могу предложить вам. Уполномочьте сообщить им. Вся Симла знает уже о сцене на Дамской миле. Ну, даю вам пять минут на размышление.

Мне казалось, что за эти пять минут я прошел через самые нижние круги ада, куда дозволено ступить человеку, живущему на земле. И я видел себя блуждающим в темных лабиринтах сомнений, несчастья и безграничного отчаяния. Какую из этих ужасных причин должен я выбрать? Для меня это было не менее затруднительно, чем для Хизерлефа. Наконец, я ответил голосом, который едва узнал сам:

– Они проявляют ужасную щепетильность в вопросах нравственности. Скажите, что я согласен на эпилепсию, и передайте им мой привет. А теперь дайте мне поспать еще немного.

Оба существа мои соединились во мне, и я (загнанный, полураздавленный) ворочался в постели и переживал шаг за шагом всю мою жизнь за последний месяц.

– Но ведь я живу в Симле, – говорил я себе. – Я, Джек Пансей, живу в Симле, где нет призраков. Неблагоразумно со стороны этой женщины заставлять сомневаться в этом. Почему не хочет Агнесса оставить меня в покое? Я не сделал ей никакого зла. Может быть, я не любил ее так, как она любила меня. Но я никогда не вернулся бы с того света, чтобы убить ее. Почему же меня не оставляют в покое, почему не позволяют мне быть счастливым?

Я проснулся только к вечеру. Солнце успело почти закатиться, пока я спал – спал, как может спать замученный преступник на своем орудии пытки, слишком истерзанный, чтобы чувствовать дальнейшие мучения.

На следующий день я еще не мог встать с постели. Хизерлеф сказал мне утром, что получил ответ от м-ра Маннеринга и что благодаря его, Хизерлефа, стараниям моя несчастная история стала известна всем обитателям Симлы, которые очень жалели меня.

– Это, пожалуй, больше того, что вы заслуживаете, – прибавил он любезно в заключение. – Хотя, впрочем, вы уже и так достаточно наказаны. Ничего, в конце концов вылечим вас, головорез вы этакий!

Я наотрез отказался лечиться.

– Вы уже достаточно сделали для меня, старина, – сказал я, – не хочу беспокоить вас больше.

Я прекрасно знал, что ни Хизерлеф, ни кто другой не в состоянии снять бремя с моей души.

Вместе с этим сознанием во мне росло чувство безнадежного и бессильного протеста против нелепости происходившего. Десятки мужчин поступают несколько не лучше меня, и, однако, наказание их откладывается, по крайней мере, до того света. И я чувствовал горькую обиду на несправедливость судьбы, выделившей меня из их числа и наказавшей меня так жестоко. Это настроение уступало иногда место другому, в котором мне начинало казаться, что именно рикша и я реальные существа в этом мире теней; что Китти была призрак, что Маннеринг, Хизерлеф и все другие мужчины и женщины, которых я знал, были только призраками; и что даже гигантские серые скалы не что иное, как только тени, созданные для того, чтобы мучить меня. От одного настроения к другому переходил я в течение семи томительных дней. Физически я окреп, и наконец зеркало в моей спальне сказала мне, что я вернулся к своему прежнему образу и ничем не отличаюсь от других людей. Как ни странно, но на лице моем не было никаких знаков пережитой мною борьбы. Оно было, правда, бледно, но не выражало ничего необыкновенного. Я ожидал найти значительную перемену, свидетельствующую о болезни, съедавшей меня. И не нашел ничего.

Пятнадцатого мая я уехал от Хизерлефа в одиннадцать часов утра, и инстинкт холостяка погнал меня в клуб. Там все, как и говорил Хизерлеф, знали мою историю и были неестественно добры и внимательны ко мне. И тем не менее я сознавал, что для моего спокойствия было бы несравненно лучше не быть среди себе подобных. Как завидовал я смеху кули на Мэльском проспекте! Позавтракав в клубе, я пошел в четыре часа бродить по Мэлю со смутной надеждой встретить Китти. Около железнодорожной станции черные с белым ливреи присоединились ко мне, и я услышал все тот же призыв м-с Вессингтон. Я ожидал появления призрака с того момента, как вышел на улицу, и был удивлен его опозданием. Рикша и я неподвижно стояли рядом на дороге в Чота Симлу. В это время Китти, в сопровождении какого-то господина, проехала верхом мимо нас. Она уделила мне внимания не больше, чем дворовой собаке. Она не ответила на мой поклон даже ускорением шага лошади, хотя, может быть, дождливые сумерки помешали ей узнать меня.

Так Китти с ее спутником и я с моим неразлучным призраком парами поднимались на Джакко. По дороге текли дождевые ручьи, с сосен лила вода на скалы, как из труб на улице, воздух был пропитан влагой. Два или три раза я ловил себя на словах, обращенных к самому себе, почти громко: «Я, живой человек, Джек Пансей, живущий в Симле!.. В Симле! В самой обыкновенной земной Симле. Я не должен забывать этого... не должен забывать». Затем я старался вспомнить предметы разговоров в клубе – цены на лошадей и тому подобные подробности, относящиеся к повседневной жизни англо-индийского мира, который был мне так близок. Я даже повторил быстро про себя таблицу умножения, чтобы убедиться, что не потерял окончательно рассудок. Это было уже потому хорошо для меня, что на время отвлекло меня от м-с Вессингтон, и я не слышал ее призыва.

Еще раз вскарабкался я по склону Конвента на площадку. Отсюда Китти и ее спутник поскакали галопом, и я остался наедине с м-с Вессингтон.

– Агнесса, – сказал я, – откинь верх рикши и скажи мне, что все это значит?

Верх бесшумно откинулся, и я очутился лицом к лицу со своей умершей и погребенной возлюбленной. Она была одета в то же самое платье, в котором я видел ее в последний раз живой. В правой руке ее был тот же тонкий носовой платок, а в левой тот же футляр для визитных карточек. (Женщина, умершая восемь месяцев назад, с футляром для визитных карточек!)



Я должен был снова приняться за таблицу умножения, ухватиться обеими руками за каменные перила дороги, чтобы убедиться, что все это существует на самом деле.

– Агнесса, – повторил я, – из сострадания скажи мне, что все это значит?

М-с Вессингтон наклонилась вперед хорошо знакомым движением головы и заговорила.

Если бы мне кто-нибудь сказал, что моя история перешла все границы вероятного в человеческой жизни, я не стал бы возражать ему. Но, хотя я и знаю, что никто не поверит мне, не поверит и Китти, перед которой я хотел бы этим рассказом оправдать свое поведение, я буду продолжать его. М-с Вессингтон говорила, а я шел рядом от Санджовлийской дороги вниз до поворота, шел и слушал, как можно слушать, идя рядом с настоящей рикшей и с живой женщиной в ней. Второй и наиболее мучительный приступ болезни внезапно овладел мною, и мне, подобно принцу из поэмы Теннисона, «казалось, что я двигаюсь в мире призраков». По пути мы присоединились к толпе, возвращавшейся с пикника. И мне казалось, что это сонм теней, бесчисленный сонм фантастических теней, расступающихся перед рикшей м-с Вессингтон, чтобы дать ей дорогу. О чем говорили мы во время этого сверхъестественного свидания, я не могу, скорее – не смею сказать. Хизерлеф расхохотался бы и сказал, что я был охвачен «желудочно-мозговой зрительной холерой». Для меня в этом было что-то жуткое и непонятным образом очаровательное. Возможно ли это, спрашивал я себя с изумлением, чтобы я во второй раз в этой жизни ухаживал за женщиной, которую убил собственным небрежением и жестокостью?

На обратном пути домой я встретил Китти – тень среди других теней.

Если бы я стал описывать по порядку все происшествия следующих двух недель, моя история никогда не кончилась бы, а вы потеряли бы терпение. Утро за утром и вечер за вечером призрак рикши и я ходили по улицам Симлы. Как только я выходил, четыре черных с белым livrei тотчас же были около меня и шли за мной всюду, провожая потом домой. У театра я видел их среди кричащих джампани, находил их у веранды клуба после вечерней игры в вист, у подъезда собрания они терпеливо ждали моего выхода и днем сопровождали меня, когда я делал визиты. За исключением того, что рикша не давала тени, она была совсем как настоящая, из дерева и железа. Не один раз я с трудом удерживался от того, чтобы предостеречь скачущего прямо на нее друга, и почти постоянно гулял рядом с ней по Мэльскому проспекту, погруженный в интересную беседу с м-с Вессингтон, к невыразимому удовольствию проходящих мимо.

Не прошло и недели, как я узнал, что теория эпилепсии уступила место наследственному сумасшествию. Как бы то ни было, я не изменил своего образа жизни. Я делал визиты, ездил верхом, бывал на обедах так же свободно, как прежде. Только прежде я не стремился так страстно к обществу живых людей, к действительной жизни. И вместе с тем я не мог чувствовать себя вполне счастливым, когда расставался на слишком большой срок с моей компанией призраков. Почти не поддаются описанию мои постоянные смены настроения в течение всего времени от пятнадцатого мая до сегодняшнего дня.

Присутствие рикши наполняло мою душу поочередно то ужасом и слепым страхом, то каким-то странным чувством удовлетворения, сменявшимся затем безграничным отчаянием. Я не смел уехать из Симлы и вместе с тем чувствовал, что дальнейшее пребывание в ней убивает меня. Я уже знал, что мне предназначено умирать медленно и постепенно, изо дня в день. Моей единственной заботой было принять это наказание как можно спокойнее. По временам я жаждал видеть Китти, с болью в душе наблюдал за ее флиртом с моим преемником или – вернее – с моими преемниками. Но в общем она исчезла из моей жизни, так же, как я исчез из ее. Днем я почти всегда был удовлетворен обществом м-с Вессингтон. Ночью я молил небеса вернуть меня к прежней жизни таким, каким я был до сих пор. И над всеми такими изменчивыми настроениями господствовало чувство тупого, застывшего изумления перед тем, что видимое и невидимое переплелось так причудливо здесь, на земле, чтобы довести до могилы бедную заблудшую душу.

*Августа 27.* Хизерлеф неутомим в своих заботах обо мне. Еще вчера он сказал мне, что я должен послать прошение об отпуске по болезни. Просьбу об отпуске, чтобы избавиться от компании призраков! Ходатайствовать перед правительством, чтобы оно милостиво помогло мне переехать в Англию и избавиться от пяти духов и воздушной рикши! Предложение Хизерлефа довело меня почти до истерического смеха. Я сказал ему, что буду спокойно ждать конца в Симле, а я уверен, что он не за горами. Поверьте, что я жду его прихода без всякого страха. Каждую ночь я мучаюсь тысячами измышлений о том, как я буду умирать.

Умру ли я в своей постели прилично, как подобает английскому джентльмену, или в одну из прогулок по Мэлю моя душа внезапно отлетит от меня, чтобы навеки занять свое место рядом с ужасным призраком? Увижу ли я старых умерших друзей на том свете, встречусь ли там с Агнессой, ненавидя ее и навеки привязанный к ней? Будем ли мы оба парить над местом нашей прежней жизни до скончания веков? И чем больше приближался день моей смерти, тем больше охватывал меня ужас, который испытывает всякое живое существо перед разверзающейся могилой. Ужасно идти навстречу приближающейся смерти, когда прожита едва половина нормальной жизни. Но в тысячу раз ужаснее ждать, как я жду среди вас, чего-то неизвестного и невообразимо страшного. Пожалейте же меня хотя бы за мои «галлюцинации», потому что я знаю, вы не верите ничему из того, что здесь написано. Верно только то, что если был на свете человек, доведенный до могилы силами тьмы, то этим человеком был я.

По справедливости, пожалейте также и ее. Потому что если верно, что женщина может быть убита мужчиной, то, значит, я убил м-с Вессингтон. И наказание за это преследует меня теперь.

## Его величество король

*В слове короля его сила. И кто может спросить его: что ты делаешь?*

– Да! А Чимо должен спать у меня в ногах. Потом дайте мне сюда мою розовую книжку и положите хлеба. Я ведь могу проголодаться ночью. Теперь все, мисс Биддэмс. Только еще разок поцелуйте меня. Сейчас я засну. Так! Очень хорошо. Ай! Розовая книжка завалилась за подушку, а хлеб раскрошился. Мисс Биддэмс! Мисс Биддэмс! Мне очень неловко. Пожалуйста, подите ко мне, мисс Биддэмс, закройте меня.

Его величество король ложился спать. И бедная, терпеливая мисс Биддэмс, которая скромно публиковалась, как «молодая особа из Европы, умеющая ухаживать за маленькими детьми», должна была присутствовать до окончания королевских капризов. Его величество владел соответствующим его положению искусством забывать кого-нибудь из своих многочисленных маленьких друзей при молитве, и, из боязни прогневать Бога, он раз пять в вечер принимался молиться сызнова. Его величество король верил в действие молитвы, как верил в Чимо, терпеливую болонку, или в мисс Биддэмс, которая могла достать ему ружье «с настоящими» пистонами с самой верхней полки шкафа в детской.

За дверями детской прекращалось действие королевской власти. За этими границами начиналась империя отца и матери – двух страшных людей, у которых не было времени заниматься его величеством королем. Его голос понижался, когда он переступал эту границу, его действия теряли свою уверенность, а душа наполнялась страхом перед сумрачным человеком, живущим в обширной пустыне, среди ящиков с бумагами и удивительно привлекательными красными тесемками, и красивой женщиной, которая всегда входит в большой экипаж и выходит из него.

Первый владел тайнами дуетара, вторая – громадной, отраженной в зеркалах пустыней, где висели на высоких вешалках всевозможные пестрые, благоухающие наряды и стоял туалетный стол с множеством разных мешочков, футляров, гребенок и щеток.

Эти комнаты не были открыты для его величества короля ни во время официальных приемов, ни во время пышных празднеств. Он открыл это давно, века и века назад – задолго до появления в доме Чимо или до того, как мисс Биддэмс перестала сокрушаться над пачкой засаленных писем, которые, казалось, были самым дорогим для нее сокровищем на земле. И его величество король благоразумно ограничивался собственной территорией, где одна мисс Биддэмс, и то весьма слабо, сопротивлялась его воле.

От мисс Биддэмс он заимствовал свои несложные религиозные понятия, смешав их с легендами о богах и дьяволах, которые он вынес из своего общения с прислугой в кухне.

Мисс Биддэмс он доверял как свои разорванные платья, так и наиболее серьезные печали. Она и знала все, и могла сделать все. Она в точности могла объяснить, как возникла земля, и могла успокоить трепетавшую душу его величества в то ужасное время в июле, когда дожди лили не переставая семь дней и семь ночей, и не появлялась радуга на небе, и разлетались все вороны! Она была самая могущественная из всех вокруг, конечно, за исключением тех двух далеких, молчаливых людей, за дверями детской.

Как мог знать его величество король, что шесть лет назад, как раз в то лето, когда он родился, м-с Аустель, перебирая бумаги мужа, наткнулась на безумное письмо сумасшедшей женщины, увлекшейся душевной силой и красотой молчаливого человека? Как мог знать он, сколько смятения и отчаяния внес в душу ревнивой женщины только один взгляд, брошенный на маленький клочок бумаги? Как мог он, при всей своей мудрости, угадать, что мать сочла этот эпизод достаточным поводом для полного разрыва с мужем, для создания отчужденности,

возрастающей и усиливающейся с каждым годом; что она зарыла этот скелет в доме, сделала его своим домашним богом, который был всегда на ее пути, сторожил ее сон у постели и отравлял каждую минуту ее жизни?..

Все это было вне власти его величества короля. Он знал только, что отец был изо дня в день погружен в какие-то таинственные дела, во что-то, с чем связывалось название Сиркар, а мать была постоянно во власти Науча и Бура-хана. В эти учреждения ее сопровождал какой-то капитан, на которого его величество король не хотел смотреть.

– Он не смеется, – возражал он мисс Биддэмс, пытавшейся внушить ему правила вежливости. – Он только делает гримасу ртом, когда хочет насмешить меня, а мне вовсе не смешно.

И его величество король качал головой с видом человека, познавшего всю суетность этого мира.

Утром и вечером должен он был приветствовать отца и мать: первого – холодным серьезным пожатием руки, вторую – таким же холодным поцелуем в щеку. Один раз только случилось, что он обвил руками шею матери так же, как привык это делать с мисс Биддэмс. Кружевом своей манжетки он задел за сережку, и заключительной стадией проявления чувства его величества был сдавленный крик и затем изгнание в детскую.

«Нехорошо, что мемсахиб носят какие-то вещи в ушах, – думал его величество король. – Я это запомню». И он никогда не повторял больше опыта.

Следует отметить, что мисс Биддэмс баловала его, насколько могла, чтобы вознаградить за то, что она называла про себя «жестокостью его папа и мама». Не выходящая за пределы своих обязанностей, она не имела никакого представления о раздорах супругов – о необузданном презрении к женской глупости с одной стороны и глухого, затаенного гнева с другой. Мисс Биддэмс за свою жизнь имела много детей на своем попечении и служила во многих соответствующих учреждениях. Скрамная по натуре, она мало замечала, еще меньше говорила, а когда ее питомцы уезжали за море, в сторону чего-то великого и неизвестного, что она трогательно называла «родиной», она собирала свои скудные пожитки и уходила. Затем начинала думать о новом месте, искать себе новых питомцев, чтобы снова расточать свою любовь, не требуя за то благодарности. Так прошел через ее руки целый ряд неблагодарных. Но его величество король оплачивал ее привязанность с лихвою. К его детскому вниманию обращала она рассказы о своих неоправдавшихся надеждах и неосуществившихся мечтах, о померкшей славе дома предков «в Калькутте, возле Веллингтонского сквера».

Все превышавшее уровень обыкновенного было в глазах его величества короля «Калькутта хорошая». Но когда мисс Биддэмс шла наперекор его высочайшей воле, он изменял эпитет, чтобы досадить почтенной леди, и все дурное называл «Калькутта гадкая», пока инцидент не заканчивался слезами раскаяния.

Время от времени мисс Биддэмс спрашивала для него редкое удовольствие провести день в обществе дочки комиссионера – своенравной четырехлетней Патси, обожаемой своими родителями, к величайшему изумлению его величества короля.

После продолжительного обдумывания этого обстоятельства он пришел неизвестным для вышедших из детства путем к заключению, что Патси любят за большой голубой кушак и желтые локоны.

Это драгоценное открытие он держал при себе. Желтые локоны были вне его власти; его собственная растрепанная шевелюра была темно-картофельного цвета. Но что-нибудь похожее на голубой кушак можно сделать. Он завязал большой узел на своей занавеске от москитов, чтобы не забыть при первой же встрече посоветоваться об этом с Патси. Она была единственным ребенком, с которым ему приходилось разговаривать, и почти единственным, которого он видел. Маленькая память и очень большой, растрепанный узел сослужили свою службу.

– Патси, дай мне свою голубую ленту, – сказал его величество король.

– Ты порвешь ее, – сказала Патси с негодованием, вспоминая некоторые из его жестокостей по отношению к ее куклам.

– Нет, я не буду рвать. Я только поношу ее.

– Фу! – сказала Патси. – Мальчики не носят лент, это только для девочек.

– Я не знаю. – Лицо его величества короля омрачилось печалью.

– Кому это нужно ленту? Что, вы хотите играть в лошадки, ребятки? – спросила жена комиссионера, выходя на веранду.

– Тоби просит мой кушак, – объяснила Патси.

– Я не знаю, – проговорил его величество король поспешно, чувствуя, что одним из этих ужасных «больших» его маленький секрет может быть позорно вырван у него и даже – худшее оскорбление – высмеян.

– Хочешь, я дам тебе шутовской колпак? – спросила жена комиссионера. – Иди к нам, Тоби, я покажу тебе.

Шутовской колпак был великолепный – остроконечный, с тремя бубенчиками наверху. Его величество король примерил его на свою царственную голову. У жены комиссионера было лицо, внушавшее невольное доверие детям, и все ее манеры были проникнуты нежностью.

– Это так же хорошо? – сомневался его величество.

– Так же, как что, крошка?

– Как лента?

– Ну, конечно! Пойди и посмотри сам в зеркало.

В голосе звучала полная искренность, идущая навстречу детской потребности наряжаться. Но юные дикари всегда очень чутко воспринимают насмешку. Его величество король подошел к большому зеркалу и увидел в нем свою голову, увенчанную ужасным дурацким колпаком, который его отец разорвал бы в клочки, найдя у себя в кабинете. Он сорвал его с головы и залился слезами.

– Тоби, – серьезно сказала жена комиссионера, – ты не должен давать волю своему характеру. Это нехорошо, и мне очень неприятно видеть тебя в таком состоянии.

Но его величество король рыдал так безутешно, что сердце матери Патси было растрогано. Она посадила ребенка к себе на колени. Очевидно, что дело тут было не в одном капризе.

– Что с тобой, Тоби? Скажи мне. Тебе нездоровится?

Слова и рыдания перемешивались между собой и переходили в всхлипывания, вздохи и неясный лепет. Затем наступил перерыв, и его величество король, после нескольких непонятных звуков, произнес так же маловразумительные слова: «Ступай... вон... грязный... маленький постреленок!»

– Тоби! Что это значит?

– Он так скажет. Я знаю это! Он сказал это, когда увидел маленькое пятнышко на моем переднике. И он опять это скажет и будет еще смеяться, если я приду к нему в этом колпаке.

– Кто скажет это?

– М... мой папа! Я думал, что он позволит мне играть бумагами из большой корзины под его столом, если я надену голубую ленту.

– Какую же голубую ленту, деточка?

– Ту самую, которую носит Патси. Большой голубой бант.

– Что все это значит, Тоби? У тебя что-то неладно в голове. Расскажи мне все по порядку, и, может быть, я помогу тебе.

– Ничего особенного, – просопел его величество, желая сохранить остатки своего мужского достоинства и поднимая голову с материнской груди, на которой она покоилась. – Я только думал, что вы любите Патси за то, что она носит голубую ленту, и хотел надеть ленту, чтобы и мой папа любил меня.

Тайна была открыта, и его величество король снова заливался горькими слезами, невзирая на нежные ласки и слова утешения.

Шумный приход Патси прервал эту сцену.

– Иди скорее, Тоби! Там ящерица в саду, и я велела Чимо караулить ее, пока мы придем. Мы ударим ее этой палкой, и хвостик будет дергаться, дергаться, потом отпадет. Идем! Я не буду ждать!

– Иду, – сказал его величество король, слезая с колен жены комиссионера после торопливого поцелуя.

Через две минуты хвостик ящерицы вертелся на полу веранды, дети с серьезными лицами подхлестывали его прутиками, чтобы сохранить в нем жизнь и чтобы он и еще повертелся, потому что ведь ящерице от этого не больно.

Жена комиссионера стояла в дверях и наблюдала. «Бедный, маленький птенчик! Голубой кушак... И моя ненаглядная, дорогая Патси! Даже лучшие из нас, с любовью относящиеся к ним, часто не представляют себе, что происходит в их хаотических головках».

И она ушла в комнаты, чтобы приготовить чай для его величества короля.

«Их души развиваются быстро в этом климате, – продолжала она свои размышления. – Хотелось бы мне внушить это м-с Аустель. Бедный мальчуган!»

Не оставляя намерения повлиять на м-с Аустель, жена комиссионера пошла к ней и долго с любовью говорила о детях вообще, и о его величестве короле в особенности.

– Он в руках гувернантки, – сказала м-с Аустель тоном, в котором не чувствовалось никакого интереса к предмету разговора.

Жена комиссионера, неискусный стратег, продолжала свои расспросы.

– Не знаю, – отвечала м-с Аустель. – Это все предоставлено мисс Биддэмс, и, без сомнения, она не обижает ребенка.

Жена комиссионера скоро собралась домой после этого заявления. Последняя фраза больно ударила ее по нервам. «Не обижает ребенка! И это все, что нужно! Воображаю, что сказал бы Том, если бы я только не обижала Патси!»

С тех пор его величество король стал почетным гостем в доме комиссионера и избранным другом Патси, с которой он проводил время во всевозможных забавах. Патсина мама была всегда готова дать совет, оказать дружеское содействие детям. Если было нужно и если не было у нее посетителей, она могла даже принять участие в детских играх. Увлеченность, которую она при этом проявляла, могла бы шокировать прилизанных субалтернов, мучительно сжавшихся на стульях во время их визитов к той, которую они за глаза называли «мамашей Бонч».

И вот, несмотря на Патси и ее маму и на любовь, которую они щедро изливали на него, его величество король пал в бездну преступления – не узанного, но тем не менее тяжкого – он сделался вором.

Однажды, когда его величество играл один в зале, пришел человек и принес сверток для его мамы. Слуги не было дома, человек положил сверток на столе в зале, сказал, что ответа не нужно, и ушел.

Собственные игрушки успели уже к этому времени надоест его величеству, и белый изящный сверток был очень интересен. Ни мамы, ни мисс Биддэмс не было дома. Сверток был перевязан розовой тесемочкой. Именно такую тесемочку ему давно уже хотелось иметь. Она могла ему пригодиться в очень многих случаях, он мог привязать ее к своему маленькому плетеному стульчику, чтобы возить его по комнатам, мог сделать из нее вожжи для Чимо, который никак не мог научиться ходить в упряжке, и многое, тому подобное. Если он возьмет тесемочку, она будет его собственностью, нет ничего проще. Конечно, он никогда не набрался бы храбрости попросить ее у мамы. Вскрабавшись на стул, он осторожно развязал тесемку. Жесткая белая бумага тотчас же развернулась и открыла красивый маленький кожаный футляр с золотыми буквами на крышке. Он попробовал завернуть по-прежнему бумагу, но это не уда-

лось ему. Тогда он открыл уж и футляр, чтобы окончательно удовлетворить свое любопытство, и увидел прекрасную звезду, которая блестела и переливалась так, что нельзя было от нее оторваться.

– Вот, – сказал его величество, размышляя, – это именно такая корона, какую я должен надеть, когда полечу на небо. У меня должна быть такая корона на голове – мисс Биддэмс сказала. Мне хотелось бы надеть ее сейчас. Хотелось бы поиграть ею. Я возьму ее и буду играть ею очень осторожно, пока мама не спросит. А может быть, ее для меня и купили, чтобы играть, так же как колясочку.

Его величество король прекрасно знал, что говорит против своей совести, потому подумал тотчас же вслед за этим: «Ничего, я поиграю ею, только пока мама не спросит о ней, а тогда я скажу: „Я взял ее, но больше никогда не буду“. Я не испорчу эту красивую алмазную корону. Только мисс Биддэмс велит мне положить ее обратно. Лучше я не покажу ее мисс Биддэмс».

Если бы мама пришла в эту минуту, все обошлось бы благополучно. Но она не пришла, и его величество король засунул бумагу, футляр и звезду за пазуху своей блузки и ушел в детскую.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.